



ЯНИНА БРОНЕВСКАЯ

ВАРШАВА, 1945...

В этом месяце исполняется двадцать пять лет со дня образования Польской Народной Республики. Публикуемый ниже очерк известной польской писательницы Янины Броневской воскрешает одну из первых страниц ее истории. В годы войны Янина Броневская была военным корреспондентом в частях Войска Польского. Редакция газеты «Польска Збройна», разместившаяся в освобожденном от фашистов Люблине, направила ее в только что очищенную от гитлеровцев столицу Польши.

Очерк печатается по тексту, вошедшему в сборник «Вступление в страну» («Wejście w kraj») 1965 года издания.



азалось, город сошел с ума. Люди на улицах плачут, обнимаются с незнакомыми. Вечером «королевский» салют — гром орудий и россыпи ярких ракет в небе.

Варшава свободна!

В редакции мне вручают приказ о выезде.

— Рано утром вылетишь в Варшаву. Задание — первая корреспонденция из освобожденной столицы. Летчик подождет; в полдень твой репортаж должен быть в наборе. Пиши хоть на коленях, разберем.

— Летим «Уточкой»?

— «Уточкой». Все уже подготовлено. Не проспи! — шутивно добавляет главный.

Друзья как-то особенно смотрят на меня. Тепло и в то же время с завистью.

— «Не проспи!» Разве можно вообще спать в такую ночь?

На аэродром приехали еще затемно. Советские летчики в своей землянке надели на меня, как заботливые няни, еще одну куртку, меховые сапоги и дали летные очки.

— Наверху холодно...

Слова относятся не только к морозу, который охватит нас там, наверху, в открытой всем ветрам кабине «Уточки». Кто лучше их, моих советских друзей, может понять, что я сейчас переживаю? Они ведь испытали такие возвращения...

С первыми проблесками рассвета направляемся к самолету. Меня подсаживают на крыло. Влезаю в кабину. Запускают мотор.

Проверить, крепко ли держат ремни. Все...

Самолет ведет капитан Модрыко, белорус. Он уже видел свой Минск.

Минск...

Убегает назад люблинский Замок, скрывается из виду город. Мы были, пожалуй, над Гарволином, когда пилот, оторвавшись на минуту от своих таинственных приборов и с трудом пересиливая шум мотора, крикнул, повернувшись ко мне:

— Смотри вниз! Смотри!

Я высовываюсь из кабины, ледяной ветер не дает дышать. По шоссе движется какая-то длинная зеленовато-голубая змея.

— Вижу! Это гитлеровцы!

— Опять идут на восток! — за летными очками подмигивают мне глаза пилота. Самолет, со свистом рассекая воздух, устремляется вниз. Три головокружительных виража.

Кажется, мы вот-вот упадем на шоссе.

— Сумасшедший! Что ты делаешь? — кричу я, пытаюсь вытолкнуть изо рта кляп ветра. — Они там поумирают со страху!

С шоссе на нас смотрят, задрвав головы, испуганные представители «высшей расы», растянувшиеся на километры под редким конвоем советских солдат.

— Хватит с них, сволочей, — перекрикивает пилот шум мотора и резко вскидывает вверх свою машину.

Мы летим в направлении Вислы. Пролетаем над Прагой*. Левое крыло самолета сейчас как раз над сорванными пролетами третьего моста. Висла, скованная льдом, мертва. У берегов оцепенели вздыбленные волны, похожие на глыбы серого гранита.

И вдруг под нами разверзается пропасть. Страшная, окоченевшая пустыня, кое-где разбросаны черные коробки домов без крыш. Голые, поломанные деревья.

Модрыко опять поворачивается ко мне:

— Держись! Я сам тоже из Минска! Все... знаю...

Он не закончил фразы, а может, ее унес свистящий ветер? Мы летим над городом. Не узнаю ни районов, ни улиц. Глаза застилают слезы. Круги, круги, вихри. Что это, небоскреб на площади Наполеона? Он простирает — словно в отчаянии изломанные руки — покореженные балки железных конструкций.

Маршалковская? Площадь Унии?

Мокрые стекла очков никак не протрешь. Внизу красное здание. Оно — единственное, плотно прикрытое крышей. Раковецкая? Тюрьма? Потом запорошенное снегом огромное поле. Черные ямки. Снижаемся.

Садимся не сразу. Пилот описывает круги, все ниже и ниже. Тряхнуло. Твердое прикосновение варшавской земли.

Я сижу неподвижно. Стоит ли еще жить? В памяти всплывает то, сентябрьское. Мертвая тишина, разбудившая нас в день капитуляции. Жуткая тишина, в сотни раз страшнее всех трехнедельных налетов. Каждый считал чуть ли не подлостью пережить свой город, не остаться навсегда в жолобожском парке в воронке от бомбы.

Пилот выпутывает меня из всех одежек и энергично встряхивает. Помогает вылезти из кабины. Ставит на землю. Одергивает на мне белый полушубок и снимает мои совсем мокрые очки. Ко мне возвращается способность действовать, я стараюсь взять себя в руки. Пилот, видно, не очень-то в этом уверен и сурово приказывает идти за ним, точно по его, Модрыкиным, следам. Перед нами — безлюдное, замерзшее поле.

— В чем дело?

Он отвечает неожиданно по-белорусски:

— Не смей ни на шаг отходить в сторону! Ступай только по моим следам. Вот так! А то еще нарвешься на мину. Видишь эти черные ямки, холера их знает... А я обязан доставить тебя в целости. Ну, вот ты и опять у себя. В своей Варшаве!

Мы выбираемся на шоссе. К нам спешит группа ободренных, изможденных людей.

— Что мы здесь пережили, что пережили! Сердце разрывается... — говорит какая-то женщина. В детской коляске она везет настенные часы и швейную машину.

От двух оборванных мужчин несет самогоном, они похожи на людей, перенесших сильное нервное потрясение. Попросить бы у них «хлебнуть глоточек», прямо из той бутылки, что торчит из кармана одного из них. Может, это заглушило бы прямо-таки физическую боль.

На пустынном шоссе раздается так хорошо знакомый топот сапог. Из-за поворота показываются солдаты! Наши! Траугуттовцы! Парни идут усталые после боя, но в глазах все еще горят воодушевление, ненависть, ожесточение. И я сразу как-то подтягиваюсь. Становится стыдно за свою слабость. Чувствую, что я опять среди своих...

Подъезжает «виллис», из него выглядывает водитель Сабинин с завязанным глазом. Его ранили вчера при взятии Варшавы. За колонной солдат дымят походные кухни, покачивают умными головами мохнатые нескладные лошадки, привезенные из-за Оки. В машине Сабинина знакомые лица. Один из них — майор Зентек, заместитель начальника дивизии. Останавливаются. Дует пронизывающий ветер. От холода сводит пальцы, но если забраться в «виллис», можно писать. Положив полевую сумку на колени, я строчу свою первую корреспонденцию для редакции «Польска Эбройна». Пилот стоит надо мной, как дьявол над грешной душой. Оба мы спешим. Друзья, время от времени растирая мои коленеющие на морозе пальцы, рассказывают:

«Вчера в 11.15 передовые части траугуттовцев достигли юго-западной окраины Варшавы. Через несколько минут начальник дивизии получил сообщение, что неприятель в панике отступает.

Наши стремительно бросаются вперед. Из подвалов извлекают трясущихся от страха гитлеровцев, те твердят: «Гитлер капут! Поляк гут!»

Части все глубже проникают в город. В 15.30 командир нашей дивизии рапортует командующему Первой Армией: Варшава освобождена!

Население предместий восторженно встречает наши войска.

В центре города пусто. Зияют руины. Бойцы клянутся отомстить. Хотя солдаты устали после боев и форсированных маршей, части продолжают двигаться на запад.

* Предместье Варшавы.

Их цель теперь — Одра и Нисса, а потом Берлин. Они сдержат свою клятву и отомстят за разрушенную Варшаву».

Леденящий ветер все усиливается. Я отдаю пилоту готовую корреспонденцию. Разберут ли в редакции мои каракули? Разберут.

По своим следам мы возвращаемся к самолету. Помогаем запустить мотор. Какое-то мгновение я и Модрыко смотрим друг другу в глаза. Странно, ведь всего день, как я его знаю, а вот забуду ли когда-нибудь?

— Спасибо, товарищ капитан!

— Ну, что ты, мелочь, чепуха...

Я возвращаюсь к гостеприимной машине траугуттовцев. Мы проезжаем посадочное поле на Раковце. Машина едет медленно, как в похоронной процессии. Опять наваливается отчаяние, слова вдруг теряют смысл, становятся бессильными. Как назвать то, что видишь? Смерть? Пустыня? Кладбище?

Стекло на тротуарах. Ветер рвет занавески в пустых проемах окон, пол висит на какой-то одной упрямой балке. Дома распоротые, растерзанные, закопченные. Широко раскинуты ворота раковецкой тюрьмы. Сюда не вошла свобода — отсюда вышла смерть. И сейчас она вокруг нас. Под разрушенным домом, в подвалах пустого здания, в переулках, в тех улочках, где эхо от шагов несется с Сандомирской до самого Нарбутта.

На углу Раковецкой — скелет трамвайного депо. Описываем широкую дугу, объезжая баррикаду из трамваев. Сворачиваем направо, выезжаем на Пулавскую. Серединой улицы, обходя воронки от бомб и снарядов, движется Четвертая артбригада. По улице разносится скрежет железа, топот солдатских сапог. Непрерывный поток на запад. И внезапно взрывается тишина смерти. На тротуарах появляются люди — мужчины, женщины, девочки с косичками — обыкновенные варшавяне. Они движутся от Вежба целыми толпами. Толкают перед собой детские коляски, велосипеды, даже двухколесные тачки, доверху наполненные всяким домашним скарбом, закопченными котелками. Кое-где видны торчащие ножки стола или стула. Рядом с Веделем, на углу Мадалинского, в доме, где до последних дней размещалась немецкая жандармерия, на всех этажах черно от людей. Осматривают салоны, кабинеты, спальни немцев. Через спущенные оконные решетки видны захлапанные комнаты, все разбросано в беспорядке. Красное дерево, полированная мебель, никель, зеркала. На сожженной Пулавской улице уцелело несколько домов. Захожу в один из них. Четырехэтажный дом почти не разрушен. Комнаты, кухни, ванные, облицованные кафелем. Антикварная мебель и сверхсовременная. Кофемолки, ножички для фруктов, на полу рассыпана пудра. Блестящие кастрюли, патефонные пластинки, роскошные пижамы, на ночных столиках — фотографии обнаженных танцовщиц. Своеобразный уклад личной жизни гестаповцев, нарушенный внезапно, ибо следы панического бегства видны в каждой мелочи этих тихих, благоустроенных квартир.

Перед отъездом из Люблина друзья просили меня заглянуть в их дома. Дали мне несколько адресов.

Может, дом сохранился несмотря ни на что? Может, хоть дворник там знает, что с матерью?

Ничего нет!

Сожженные дома. Улицы Пенькна, Вильча. На перекрестках горы развалин. И везде руины, руины, руины. Посреди мостовой груда камней и щебня, объезжаем ее.

Друзья-варшавяне! Слышите? Нет ничего! Нет ничего! Нет здесь вашей матери, нет никакого дворника. Только смерть. Кладбище. Это не Маршалковская, Вспульна, Новогрудская. Это кошмарный сон. Слова ничего не выражают, слова бессильны.

Давно позади остался пустой цоколь Летчика, костел Спасителя, с грудой развалин возле него. Теперь перед нами что-то непонятное — никак не разберу что. Площадь, газон? Да ведь это Саский парк! Почти без деревьев. Сворачиваем на Королевскую и едем до Граничной. Запомните, что и здесь ничего нет. На Железной я спрашиваю нашего проводника по Варшаве, который стоит на подножке машины (да, в этой Варшаве нам понадобился проводник — нам, варшавянам):

— Что это за улица? Не пойму! Паньска? Валицува?

Руины, руины, груды камней на мостовых. Въезжаем на Хлодну. Ее нет точно так же, как нет ни Вольской, ни Млынарской, ни Скерневицкой. Потом еще раз начинаем сначала. С площади Унии через Багателю. Теперь решаем действовать по-другому. Отмечать только то, что есть. Нужно найти хоть что-то, это просто необходимо, чтобы не сойти с ума. Вот два дома направо. Не разрушены, только обгорели. Бельведер белый, тихий. Не тронут огнем. Небольшие особняки в аллеях, видимо, их до последнего момента занимали немцы. Уцелели. Не сожжены дома на Аллее Шуха. Какие простые, банальные слова — «не сожжены». Но они приносят облегчение, есть в них последняя искорка надежды, без которой нельзя жить.

Но и эта искорка гаснет, и эти слова больше не повторяются ни разу на всем расстоянии от Нового Света до Замковой площади. Как бы добраться до моста Кербедзя, до Вислострады? Может, оттуда удастся пройти на Жолибож? Двухэтажное на-

громождение кирпича на Замковой площади, на кирпичах — дамская туфля, черная фетровая шляпа. Я окончательно заблудилась, не пойму, где Висла, а где Старо-Място. Опять охватывает ощущение кошмарного сна... Не пойму, где стояла колонна Зигмунта? У развалин другое измерение, другие пропорции, кажется, даже стороны света становятся другими. Через завалы на Новом Зьезде нам не пробраться даже на танке. Приходится возвращаться. Это даже к лучшему, что сегодня я не попадаю на свой Жолибож. Я и не хочу этого. Ни за что на свете. Пусть он еще поживет во мне хотя бы до утра. Тот, прежний, сентябрьский. До того, как его навсегда убьет реальность, увиденная собственными глазами: его нет. Нет так же, как нет улиц, которые я перечисляла сухим, твердым голосом: нет.

Третий мост... Середина его обрушена в Вислу. Спускаемся вниз. Среди развалин попадаются отдельные уцелевшие здания. Жалкие домишки Повисля. Вместе с двумя молодыми людьми, встреченными мной на уцелевшем участке моста, мы радуемся каждому сохранившемуся зданию:

— Пустяки, немного стекла, кирпича и цемента — и будет дом. Вот и этому немного требуется. Всего-навсего крыша. А здесь и вовсе мелочи не хватает — лестницы на второй этаж.

Люди тянутся к Праге, Вислу переходят по льду. И женщины в манто, и бабы в разномастных калошах. В узлах жалкий скерб, сохранившийся в подвалах, в потайных местах, где скрывались те, кому удалось выжить.

Я наконец решаюсь задать вопрос, мучивший меня с самого начала:

— Дорогая моя! Ты только походи по дворам! Ведь уничтожали дом за домом.

Людей выгоняли во двор. Из огнемета — раз-два. Сжигали дом, стены валились и засыпали все вокруг. А то взрывали дом вместе с людьми. Сейчас мороз, вот и не чувствуется. А сколько их под развалинами... Что, вы говорите, двести тысяч? А кто считал? Что ни шаг, то могила.

Спутник мой останавливается. Рукой показывает на что-то темное, запорошенное снегом у тропинки. Я нагибаюсь и вдруг отчетливо слышу знакомый голос, который в Люблине просил меня: «Хотя бы у дворника узнай, как мать...»

Мать. Вот здесь, у вытопанной среди развалин дорожки лежит чья-то мать. Снег засыпал ее темное пальто. Иссохшее лицо, словно вырезанное из дерева. Ветер развеивает седые волосы. Внизу, в пяти метрах, — скованная льдом Висла.

Куда ты, Мать, шла, как оказалась перед первой линией окопов? Когда тебя догнала пуля? И чья ты Мать, чья? Одна из тысяч тех, кого будут искать дети по всей Польше. Одна из двухсот тысяч, убитых в Варшаве.

Вот лежат двое, засыпанные снегом. Наши хлопцы, наши солдаты Первой Армии. Это те, что в сентябре не вернулись из разведки на пражский берег.

Мой проводник опять показывает на что-то. Спускаюсь по крутому обрыву. И этих засыпал снег, лиц не разглядеть. Рядом с павшими, наискосок, лежат санитарные носилки. Кто расскажет, что здесь произошло? Были ли они ранены или сами несли раненого?

Вокруг кладбищенская тишина, разрушенные домишки над Вислой, опустевшие окопы.

Варшава, родной наш город! К тебе шли мы от самой Оки. В снежные метели, в осеннюю распутицу, в летний зной.

Шли и дошли.

Варшава — сердце родины. Мы воскресим ее из мертвых, поднимем из руин и пепелищ. Она встанет — великолепная, прекраснее, чем была, — город любви нашей, город нашей души.

1945 год

Перевод с польского В. СЕЛИВАНОВОЙ

